

Один оттенок фейсбука

СЕРГЕЙ ЗИМОВЕЦ

Философ, психоаналитик. E-mail: s_zimovec@bk.ru.

Ключевые слова: извращение; нормопатия; садизм; эксгибиционизм; приватное; публичное; синтаксис социальных сетей; воображаемое; символическое; коммуникация; метапредписание.

В статье реализуются предварительные подходы к анализу современной эпохи извращения и к соответствующим ей трансформациям в сфере коммуникации. Широкомасштабное внедрение и распространение виртуальных социальных сетей устанавливают неявные коммуникативные протоколы и синтаксисы, детерминирующие как сами акты коммуникации, так и частичные репрезентации ее агентов. Аналитическое проявление этих синтаксисов, описание их глубинных кодов, способов построения и дескриптивных доминант позволяют соотнести современ-

ные формы коммуникации с новым, активно формирующимся социальным порядком, условно названным автором эпохой извращения. Данная «культурная психодиагностика» опирается как на психоаналитический, так и на философский подходы, что позволяет сформировать, с одной стороны, более адекватный предмету аналитический инструментарий, а с другой — в этом перекрестном взаимодействии открыть «молчание» элементарные структуры, «поселившиеся» в современных технологиях и ответственные за системное насилие последних.

Как объясняли философы и пандиты, происходило это не потому, что цукербрины хотели людям зла, а именно потому, что они хотели добра¹.

Виктор Пелевин

БЕРНЕЕ всего для начала обратиться к этимологии², поскольку одной из наших тем будет концепция «извращения», к пониманию которой никак не прийти без истории значений.

Итак, *извращение* (от лат. *perversio* — переворачивание): от *per* — через, по, очень; *versatio* — 1) вращение (*caeli Vtr*), поворачивание (*machinarum Vtr*); 2) изменчивость, смена, круговращение (*rerum Sen*), а также фреквентатива от *verso* — 1) катить, катать, вкатывать (*saxum Poeta ap. C*); 2) кружить, вращать (*fusum Ctl, O; turbinem Tib*); вертеть, поворачивать (*ova in favilla O; turdos in igne H; ferrum forcipe V*); крутить, вертеть (*galeam inter manus V*); закатывать (*sinuosa volumina v. V*); извиваться, клубиться (о раненой змее).

В русском языке *извращение* — субстантив от глагола *извратить* (*извращать*), имеющего ряд значений: оборачивать, поворачивать, опрокидывать; перелицовывать, выворачивать (наизнанку), переиначивать, искажать. Соответственно, субстантивы *извращенец, извратитель, м. (-ница, ж.)* — те, кто извращает, извратил что-либо; искажатель, исказитель.

Этимологическое поле значений прямо указывает на *вращение*, приводящее к *искажению*, вплоть до выворачивания *наизнанку*. Элементарная механика подсказывает нам, что вращать означает приводить в круговое движение предметы, укрепленные на оси и *приспособленные* для движения вокруг оси или вокруг чего-либо. Но если результатом такого вращения является вывороченность, некая искаженная — невозможная — топология (*das Unding*, сказали бы философы), мы получаем извращение, так что в результате извращающего вращения поверхность меняется местами с глубиной, внешнее — с внутренним, сокрытое — с несокрытым. Значит, что-то в этой механике сломалось: то ли сама ось, то ли «предмет»

1. Пелевин В. О. Любовь к трем цукербринам. М.: Эксмо, 2014. С. 280.

2. От греч. *ἔτυμος* — верный, действительный.

как таковой не приспособлен к вращению. Но может быть, что все дело в силах, приводящих к вращению и далее — извращению? В их избытке, недостатке или же разнонаправленности?

Другими словами, чтобы случилось извращение, необходимы и физика сил, и механика тел, нарушающих вращение, то есть не позволяющих осуществить нормальное вращение. Причина извращения, таким образом, *полиморфна*. Во-первых, движущая сила, которая вовлекает тело во вращательное движение, должна иметь свой импульс, энергетический заряд или то, что в психоанализе называется *возбуждением*. Во-вторых, это возбуждение увлекает, то есть придает влекомому энергию движения, влечет или устремляет его. Речь идет о том самом возбуждении, которое детерминирует *влечение*, направляя его к объекту. В-третьих, *объект* влечения должен быть соответствующим образом приспособлен для целей «вращения», удовлетворять его принципам и механике. Если в этом кругу «возбуждение — влечение — объект — удовольствие» происходит *отклонение от цели*, круговращение извращается. Здесь мы понимаем *цель* уже сутобо психоаналитически: цель — это действие, к которому подталкивает влечение, заряженное импульсом, (либидозной) энергией.

Конечно, в психоанализе речь идет об извращении в сфере сексуальных и (шире) психосексуальных отношений, но этиология позволяет нам обнаружить не только простую механику производства извращения, но и базовые точки извращения, или, говоря термометрически, реперные точки приложения сил извращения.

Итак, перенесем наши рассуждения на почву психоанализа, почву достаточно зыбкую, для философов во многом понятийно нестрогую и к тому же обидную, поскольку психоаналитическое бессознательное как-то все еще не вяжется с философией сознания, являясь своеобразным указанием на неполноту теории. Отсюда то недоверие к метапсихологии, возникающее, как только за дело осмысления сексуальности берется философ. Это же обязывает к особому методологическому усилию не накладывать заранее заданную конструкцию, установленные схематизмы и этикетки к предметам, разнесенным друг от друга не только «жанрово», но и институционально.

Между тем концепция извращения тематизируется не только в метапсихологии психоанализа, но и в медицине, юриспруденции, криминалистике, искусстве, собственно в философии и, как мы попытаемся показать, значительно шире — в социальных и политических стратегиях современности. Но для на-

чала обсудим наиболее известное и исследованное проявление извращения — *садизм*.

В работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905) Зигмунд Фрейд вслед за Рихардом фон Крафт-Эбингом (1886) выделил основную точку связи садизма и извращения:

Склонность причинять боль сексуальному объекту и противоположная ей (испытывать боль) — эти самые частые и значительные перверсии названы Крафт-Эбингом в обеих ее формах, активной и пассивной, *садизмом* и *мазохизмом* (пассивная форма). Другие авторы предпочитают более узкое обозначение *алголагнии* [от греч. *algos* — боль и *lagneia* — сладострастие], подчеркивающее наслаждение от боли, — жестокость, между тем как при избранном Крафт-Эбингом названии на первый план выдвигаются всякого рода унижение и покорность.

Корни активной алголагнии, садизма, в пределах нормального легко доказать. Сексуальность большинства мужчин содержит примесь *агрессивности*, склонности к насильственному преодолению, биологическое значение которого состоит, вероятно, в необходимости преодолеть сопротивление сексуального объекта еще и иначе, не только посредством актов *ухаживания*. Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему самостоятельным, преувеличенному, выдвинутому благодаря сдвигу на главное место агрессивному компоненту сексуального влечения.

Понятие садизма, в обычном применении этого слова, колеблется между только этой активной и затем насильственной установкой по отношению к сексуальному объекту и исключительной неразрывностью удовлетворения с подчинением его и терзанием. Строго говоря, только последний крайний случай имеет право на название перверсии³.

Таким образом, избыточная сила агрессивности, достигающая уровня фактического насилия по отношению к сексуальному объекту, является прямым следствием фиксации («сдвига») удовольствия на насилии. То есть в нашем кругу «возбуждение — влечение — объект — удовольствие» нормальный генитальный контакт с объектом перестает быть целью влечения, садисту необходим иной тип действия, чтобы испытать удовольствие и, соответственно, разрядку сил возбуждения. Этот иной тип действий или то, что их детерминирует, и есть его «перверсия», его разворот нормального «вращения-ухаживания» к извращению. Несложно

3. Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990. С. 139.

заметить, что в данном схематизме работает одна неявная установка, само собой разумеющееся условие, а именно: представление о некоей устойчивой и общепринятой «норме».

Это представление в качестве меры определяет границы предполагаемой нормальности, относительно которой и будут верифицированы искажения, отклонения и извращения. И поскольку за нормой записаны по преимуществу негативные определения (она — *не то* и *не это* и т. п.), она оказывается неким общепринятым априори, *нормо-патией* (от греч. *πάθεια* — 1) чувство; 2) страдание, болезнь) — нормопатией, которая принята за точку отсчета (или за «ось» правильного вращения) в первую очередь множеством специалистов, якобы научно «знающих» и профессионально определяющих как границы, так и их преодоление разного рода психо- или невропатии. Основной психиатрический прием, отсылающий к нормопатии, — это тестирование реальности, способность различать психические образы и внешние объекты, фантазии и внешнюю реальность, то есть способность корректировать субъективные впечатления путем сопоставления их с внешними фактами. Способен тестировать — нормопат, не способен — психопат. С современной точки зрения, начиная с движения антипсихиатрии, дискурс нормы — вещь абсолютно конвенциональная, которая к тому же (Жак Лакан, Мишель Фуко) задним числом устанавливается другими дискурсами — дискурсом господина (власти) и дискурсом университета (знания).

Если бы Фридриху Ницше, которому в свое время был поставлен первый психиатрический диагноз, в результате чего он был помещен в клинику, сегодня удалось попасть на прием к психиатру, то на основе предъявленной симптоматики великого философа сочли бы просто чудаковатым профессором, не нуждающимся в изоляции. Поэтому сегодня «нормопат» — это условно нормальный, степень патологии которого конвенционально приемлема со знаком плюс. Повсеместное признание сексуальных меньшинств в нашу эпоху — явный признак разрушения прежних конвенций и возникновения новой нормопатии.

Итак, садиста, уже возбужденного, уже вовлеченного на путь к удовольствию, к его цели ведут боль и страдание сексуального объекта. В этой связи надо было бы спросить: а испытывают ли жертвы садистического насилия только страдания без удовольствия? Если из множества скандальных романов де Сада призвать к ответу самый «невинный» — «Несчастья добродетели, или Жюстина», — то мы обнаружим, что жертва насилия прежде всего знает об удовольствии насильника, она тестирует это удоволь-

ствие непосредственно. Но что такое это знание? Не означает ли оно знание *истины удовольствия как таковой*, без чего не было бы знания и о собственном удовольствии, и об удовольствии монахов? И не потому ли в сценах сексуальных оргий жертва вовлекается не просто в инквизиционную технологию боли, а в изыскание истины удовольствия, в нахождение ее посредством специфической телесной аргументации? Не коррелирует ли эта ситуация со строгой церковно-приходской школой по изысканию и вменению знаний? Да, монахи у де Сада выступают в качестве святой инквизиции секса, применяя технику и процедуру дознания, аналогичную инквизиции, хотя и в специфических целях открытия тайны сексуальности. И жертва может не принимать этого пути, но не может не знать о нем и о его технологии, которая отыгрывается на ее собственном теле. Власть и знание находятся в истоках насилия и, соответственно, извращения. Как же случается при этом, что у жертв данный травматический опыт остается абсолютно внешним, то есть и неинтегрированным, и невытесненным одновременно?

При внимательном прочтении романов создается впечатление, что жертвы садизма как бы наделены некоей абсолютной (божественной? дьявольской?) защитой: все происходившее как бы было не с ними, а с какими-то их двойниками — с таким Другим субъекта, который способен к полной изоляции, автономии, к претерпеванию без трансляции и тем самым находится по ту сторону *-натуи* и, собственно, психологии. С точки зрения той же нормопатии тестирования реальности свидетельства Жюстины, как, впрочем, и Жюльетты, героини другого романа, — это свидетельства психопатов в режиме садистического расщепления, и доверять им невозможно, как невозможно доверять делирию в его претензии на Реальное. Используемый де Садом прием — вести повествование от имени жертвы или прямого действующего лица — обнаруживает, что рассказчицы-жертвы демонстрируют абсолютную невинность сознания после прохождения изуверских машин ненормированного секса, в поле их психики и рассудка нет ни малейшего травматического следа, девиации или даже простого опыта личностного кризиса. Это подсказывает нам, что тексты де Сада нерелевантны для прочтения их в режиме Реального, они полностью принадлежат инсценировке психопатического Воображаемого, предельному усилию нарушения всех и всяческих запретов и ограничений Символического с его бесконечными принудительными условностями, договорами, моральными и сословными правилами, законами и рациональностью.

Не только психика, но и тела жертв кажутся не биологическими, а-медицинскими телами, поскольку все изуверства, совершенные над ними, не оставляют в конечном итоге на них никакого соматического следа. Тем самым де Сад своеобразно предвосхищает будущую индустрию секс-субститутов, анало-вагино-имитаторов, латексных секс-кукол и частичных объектов.

Итак, каков же сексуальный атлас извращения у де Сада, именем которого оно названо? Прежде всего эта картография связана с устойчивым запретом на любые нормативные стереотипы сексуального поведения. Интимные отношения полов заменяются коллективными оргиями. При этом в радикальных случаях вагины зашиваются, в других — их использование минимизируется, то есть главный орган сексуальной технологии становится как бы исключенным из этого атласа. И в то же время его функцию начинают выполнять любые другие отверстия, разрывы, складки, надрезы. Вскрытие тела болью становится основным захватывающим ориентиром извращенного желания. Форма, которую приобретает этот атлас, уже не задана поверхностью; напротив, эта поверхность должна испытать травматическое воздействие физическими силами, направленными вглубь. Тем самым садистическая сексуальность расположена глубже поверхности и имеет геологический характер скрытого залегания. Технология садизма связана с маркшейдерским, шахтерским делом — с извращением: выворачиванием наизнанку, извлечением внутреннего, с выдачей «на-гора». Основная технологическая задача здесь состоит в том, чтобы «напитать» поверхность глубиной, из-вернуть поверхность, заставить ее вывернуться и открыть символические внутренности либидо, этого фантазматического источника садистического наслаждения.

Именно поэтому сладострастное пожирание монахами и другими «активистами» садизма кала (копрофагия), символического продукта из глубины, как нельзя более точно говорит об их шахтерской страсти. Кал — это вовсе не нечистоты, не отходы, а сокрытый источник либидозной энергии, ее «уголь».

Осталась ли эта технология неизменной или же мы можем обнаружить очевидные трансформации садистического извращения в нашу эпоху многочисленных сексуальных, гомосексуальных и просто порнореволюций? Другими словами, как новые конвенции изменили нормопатию в ее соотношении с извращением?

Весьма показательным для нашего анализа может оказаться нашумевший фильм Сэма Тейлора-Джонса «50 оттенков серого». Несмотря на его политкорректную адаптацию для массового

зрителя, обилие вторичных ходов и множество цитат из прежних, успешных картин подобного толка, «50 оттенков серого» демонстрируют весьма примечательную симптомологию в современной репрезентации извращения.

Наиболее значимым здесь оказывается то, что извращение, как это ни парадоксально, вводится в правовое поле. И этот контрактный характер взаимодействия с сексуальным объектом ставит под вопрос насилие как таковое. Контракт устраняет основной криминальный аспект садистического насилия — принуждение. Партнеры, документально согласовывающие характер действий для достижения удовольствия, уже не могут квалифицироваться в терминах «насилник — жертва», а детальное определение границ допустимого применения силы и воздействия специализированных предметов на тело и органы представляет собой конвенционализацию самого извращения. Тем самым извращению придается некий институциональный характер, оно становится юридической стороной и вписывается в нормативно-регламентирующие условия партнерского взаимодействия. То, что прежде находилось за границами конвенции нормопатии, оказалось включенным в конвенцию. Этот сдвиг фактически ставит под вопрос сам механизм принятой дифференциации извращения. В крайнем случае теперь мы можем говорить не об извращении, а только об усложнении фигуры «вращения», то есть о возникновении неклассической (типа «квантовой») физики нормы.

И все же почему Анастейша Стил, скромная студентка, отвергает молодого красавца миллиардера Кристиана Грея? Не потому ли, что предложенный контракт делает Грея (партнер № 1) абсолютным «выгодоприобретателем», между тем как бедная Настя (партнер № 2) не получает ничего, кроме бичевания по заднице? Что же не учитывал контракт или, говоря психоаналитически, что оказалось «вытесненным» за границы контракта? То, что отсутствует в контракте (в соответствии с романтической психогаммой героини), обладает собственными условиями, и это не что иное, как удовольствие жертвы садистического извращения. В контракте отсутствует *внутренняя сема* (Эрик Бюиссенс), то есть мотивация партнера № 2. Он был составлен в пользу одного из партнеров и носит односторонний характер (и пусть нас не вводит в заблуждение «деловое обсуждение» тех или иных позиций договора со стороны партнера № 2).

Именно вследствие этой фундаментальной асимметрии садизм все еще остается садизмом, а извращение — извращением. Безусловно следуя этой асимметрии, извращенец всегда нарушает

структуру интимного (и, конечно, шире — семейного, финансового, торгового, общественного, политического) договора в свою пользу, то есть в пользу собственного удовольствия, зависящего только от личной этиологической диаграммы фиксаций и действий, но удовольствия не самодостаточного, а нуждающегося в постоянном притоке энергии извне. При этом извращенец принципиально не способен учитывать интересы других сторон, что делает его договор с другими *невозмездным*, а значит, лишенным не только правовых гарантий на удовольствие для одной из сторон, но и воздаятельного мотива. Как подсказывает нам фильм, Стил хотела быть соблазненной, она отдавалась магии искушения и могла бы принять садистическую специфику сексуальности Грея, но только не извращение — безвозмездность ее услуг. Казалось бы, частная экономия торжествует над общей, этика капитализма — над потлачем, экономией дара, неэквивалентной траты либидо.

Между тем Грей — преуспевающий капиталист, и в этом состоит основной парадокс психопатического извращения: оно вполне успешно в пространстве обращения капитала, но сдает свои позиции в интимном обращении либидо, экономия которого погружена в динамический круг бессознательного. Капиталист-извращенец изобретает эффективную технологию «добычи углеводов» либидо, но только в ущерб их невосполнимому «природному источнику». И здесь наступает сопротивление подобному «взлому», жертва заявляет о праве своего удовольствия и требует соответствующего — справедливого — договора в предложенном ей «театре жестокости» (Антонен Арто). Топические и психические элементы сексуальности, которые ее конституируют, оказываются несовместимыми с аффектом боли, которая их сопровождает. Причем консенсус может состояться, но не на пути перевоспитания эрогенных зон и интимных органов под технологию извращения (мазохизм) или получения денежного вознаграждения (проституция), а посредством возвращения к истинным целям либидозной экономии — взаимному производству любви в качестве прибавочной стоимости совместных инвестиций.

Такова переключка классического и неклассического извращений, хотя есть еще одна существенная деталь, заслуживающая нашего аналитического внимания. Это момент отношения к генитальному контакту: если у де Сада зашивание монахами вагины жертвы знаменует символическую смену приоритета от нормальной сексуальности к извращенной, то есть тем самым опыт генитальной сексуальности исключается для последующего его обнаружения-извлечения уже в ином топосе повторной дефлорации,

то в современном варианте девственность (прежде перехода к извращению) с необходимостью должна быть устранена. Как нам понять эту принципиальную антитактику садистической сексуальности? Не указывает ли этот фактор на то, что современный статус садизма здесь вновь обнаруживает свой компромиссный характер? Он как бы предварительно позволяет состояться аффекту удовольствия в нормальном режиме, чтобы маркировать его в качестве точки отсчета генитальной сексуальности. Тем самым политкорректный садист профилактически предусматривает как минимум два отрицательных последствия своей целевой доминации: 1) насильственное посягательство без предварительной аффектации объекта, то есть чистую жестокость; 2) несвязанность сексуальной разрядки объекта с ним как главным действующим лицом.

Извращенец тем самым вменяет жертве истину удовольствия как такового, делает ее познанной, артикулированной и связанной, заполненной в ее открытой валентности собой как встречным объектом. В противном случае партнер № 2 не сможет распознать в садистической сексуальности партнера № 1 принципа удовольствия и отвергнет ее как прямое насилие. Дальнейшие действия Грея только подтверждают сказанное: он осторожно, постепенно, пошагово вводит Анастейшу в науку применения насилия в сексе. Современный садист уже знает, что знание само выступает как сила.

Стало быть, садизм — это борьба с поверхностью, с поверхностными иррадиациями эрогенных зон, с гименом, с тактильной чувственностью кожи. Не случайно Арто ассоциировал свой театр жестокости с преодолением всяческих поверхностей, и в первую очередь сигнификативных. Поверхности противопоставляется глубина, геология чувств, проникновение, голос боли, идущий изнутри. И в этом садизм является бинарной оппозицией любым другим техникам межличностной коммуникации, которые, напротив, сосредоточиваются на плоских декартовых картографиях, подобно эксгибиционизму, приверженцу абсолютной поверхности.

Эксгибиционизм (от лат. *exhibeo* — выставлать, показывать, предъявлять, а также инсценировать, выводить на сцену) — извращение, основанное на предъявлении интимного вне нормативного контекста его функционирования в топике желания. Осуществляя принудительное («атакующее») примыкание визуального к генитальному, эксгибиционист реализует собственное сексуальное удовольствие безотносительно к волеизъявлению объекта и тем более к удовольствию последнего, то есть он, подобно садисту, пренебрегает воздаятельным мотивом. Внезапность «публикации» является необходимой частью этой технологии так же,

как и последующий (взаимный) «испут» и бегство от наказания. Эксгибиционизм записан в тот же каталог, что и садизм, — каталог извращений и по той же причине — вследствие нарушения структуры интимного через его публичное предъявление.

Впрочем, негативные социальные последствия этого извращения невелики. Конечно, эксгибиционистская атака возмущает несанкционированным вторжением чужого интимного, но не настолько, чтобы не эксплуатировать такого рода синтаксис в социальных машинах взаимодействия и коммуникации, и особенно в современных виртуальных сетях.

Начнем с того, что любой пользователь социальной сети (он же адресант, никнейм, ник) всегда находится там для Другого, то есть для другого никнейма. Никнейм, конечно, может совпадать с реальными Ф. И. О., но при этом в виртуальных рамках будет являться более универсальным репрезентантом и идентификатором. На основе простейшей аналогии и естественной установки никнейм может принимать на себя различные характерологические и ментальные признаки субъектности, а то и личности, стоящей за ним, но правило остается правилом: никнейм — это субституция того, что он репрезентирует. Следовательно, он функционирует в режиме, принципиально отличном от непосредственной жизни и статуса репрезентанта. Это рассогласование не просто технологическое, но фундаментальное как для коммуникации, так и для ее агентов.

Очевидно, что ник, совпадающий с Ф. И. О., не сможет претендовать на полную идентичность с хозяином, он всегда частичное устройство, микромеханизм перевода реального в виртуальное. В этом судьба всех номинальных репрезентантов, связанных с носителем лишь по названию. Ник непрямого номинального характера еще далее отстоит от репрезентанта не только из-за сознательно введенного различия, но и сугубо по причинам устройства пространства коммуникации, то есть вследствие электронно-виртуальной специфики социальных сетей, позволяющих при условном нике формально быть их анонимным участником. И может быть, это самая значительная провокация данной технологии. На память приходит положение из «Морфологии сказки» Владимира Проппа: вредитель, дабы обмануть героя, всегда является в чужом облике⁴. В облике бота или тролля, добавили бы знатоки интернета.

4. Пропп В. Я. Морфология сказки // Морфология (волшебной) сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С. 25.

Итак, хотя воображаемая мотивация каждого владельца ника может быть иной, в Сети он находится только для другого и только посредством письменного высказывания, или *сообщения* (примем семиотическую установку на то, что молчание — это тоже фраза, хотя и не артикулированная). Это означает, что ник — только публичная (инстанция в перманентном режиме публикации) субституция и никогда не может выступать в качестве интимно-приватной. Сказанное не означает того, что интимно-приватная сфера абсолютно запрещена или блокирована синтаксисом сетей. Просто, как только эта сфера «заявляет» о себе, демонстрирует свои первичные «половые» признаки, она в автоматическом режиме декодирования становится публичной, то есть предъясняется, «выводится на сцену». Такое интимно-приватное, обнаруживаемое вне контекста своих манифестаций и условий реализации собственного статуса в сетевой структуре приобретает инсценированный, то есть извращенный «эксгибиционистский», характер. Поэтому социальные сети (назовем их всех обобщающим именем фейсбук) — это полная машина эксгибиционирования, или коллайдер-детектор эксгибиционирования типа церновского Большого адронного коллайдера со своим собственным тотальным вайеристом Агентства национальной безопасности США (АНБ), который отнюдь не случайно связан с соцсетями: подсматривают и подслушивают там, где показывают и говорят. При этом суть здесь не только и не столько в том, что «картинка» принципиально отличается от письма, визуальное в Сети по преимуществу вербально. Как выразился Семен Паламарчук, офицер-программист Датапола (он же террорист Бату Караев), «каждый профессионал знает, что вы, извращенцы, реагируете не столько на картинку, сколько на подпись под ней...»⁵

Гениальное прогностическое описание именно этой машины предпринял Виктор Пелевин в романе «Любовь к трем цукербринам». Его герой под никнеймом *Кеша* — это субституция, вшитая в виртуальный мир посредством электронно-физиологического гаджета. Фейстоп — главная площадка-сцена, на которой разыгрывается «жизнь» героя. Основная сетевая «борьба» Кеши заключается в ряде хитроумных комбинаций и вычислительно-технологических приемов для создания закрытой зоны интимного, зоны, недоступной для публичного обнаружения. Виртуальный мир плотно населен действующими лицами-приложениями — симуляторами, восприятие которых для Кеши представляется и пе-

5. Пелевин В. О. Указ. соч. С. 314.

реживается в качестве абсолютно реального регистра. Этому способствует вживленное нейроподключение центральной нервной системы к компьютеру и мировой Сети. Программное обеспечение «реальности» имеет предельный характер: в виртуальном мире есть все, что есть в реальном, плюс многое, чего в нем нет. Так что само различие реального и виртуального становится бессмысленным. Мы имеем дело со сверх-реальностью, или пост-реальностью. Экзистенциальные муки Кеши заключаются в том, что он, с одной стороны, подчиняется тотальному синтаксису сверх-реального, с другой — стремится обрести некую личную зону свободы, зону приватной непроницаемости, зазор в порядках программирования, в который он может попасть, оставаясь не замеченным для Смотрящего, и не стать мыслепреступником для Системы.

Эта возжеленная зона самореализации интимного — зона тайного сексуального влечения к приложению *Little Sister* (Сестричка) вопреки тому, что «официальной женой» Кеши было приложение *Мэрилин Монро*. Чтобы достичь сексуальной разрядки, Кеше приходится долго заматывать следы в Метадате, маскироваться перед аналитиками из Комитета по охране символического детства, перереформатировать собственную Биодату вегетативной атакой и т. п.

Одна из центральных идей книги заключается в том, что действующие лица не подслушиваются и не просматриваются Системой изначально, на тонком предварительном уровне зарождения той или иной мысли или чувства. Само мыслепорождение и чувствование уже форматированы в необходимых для Системы кодах. Отсюда — печальное резюме: невозможно противостоять тому, что ты сам производишь в качестве собственной личностной идентичности.

Итак, социальная сеть — это синтаксис коммуникативной поверхности. Дает ли она голос борцам, безумцам, одиночкам, девиантам, интеллектуалам, политикам, домохозяйкам, она всегда при этом кое-что отбирает и в первую очередь — возможность приватной, интимной коммуникации. В порядках программных кодов фейсбук регистрирует, классифицирует, кодирует, перерабатывает, зипирует и — не сохраняет, нет, а погребает информацию в кремниевых решетках микросхем. В какой-то своей ипостаси фейсбук представляется еще и своеобразным социальным кладбищем с аккуратными рядками эпитафий возле никнеймов. Конечно, он не просто предложил нам новый глобальный синтаксис, он еще изобрел целый веер новых возможностей, и лишь часть из них — погребальные. Но мы рискуем не увидеть этого модуля,

если опять не применим оптику Реального-Воображаемого-Символического, давно изобретенную психоаналитическим луддитом Жаком Лаканом.

Опираясь на это изобретение, мы можем обнаружить в любой социальной сети все ту же конструкцию, все тот же архаический принцип — включать в себя свою антинорму, противоречие, противоположность. Эта Воображаемая коммуникация на основе Символической репрезентации окончательно изгнала в прошлое приватные почтовые письма, и так до этого потесненные *e-mail*ом, а затем новыми технологическими возможностями РС, мобильными гаджетами и ноутбуками с их мессенджерами, СМС, чатами и скайпом. Собственно, они не только подготовили почву для захвата пространства коммуникации, они оказались прямыми проводниками массовых виртуальных сообществ, реального количества которых, пожалуй, сегодня никто не знает.

Но, предоставляя возможность состояться сообщению в рамках высказывания, то есть в прямом соответствии с векторами адресации и референции, синтаксис фейсбука всякий раз торпедирует его, неизбежно извращая коммуникативный универсум. Рассмотрим эту неочевидную ситуацию детальнее. Итак, мы имеем формально-технологическую рамку коммуникативного пространства на основе виртуальной технологии записи сообщений или визуальной картинке на странице фейсбука. Не углубляясь в саму технологию кодирования-рекодирования, программное обеспечение, интерфейсы, навигацию, сервисы и т. д., проанализируем сугубо коммуникативную специфику, предлагаемую социальной сетью.

В отличие от прямой коммуникации (от лат. *communico* — делать доступным для всех, быть общим, соединять), под которой мы подразумеваем процесс обмена информацией между двумя и более людьми, ведущий к взаимному пониманию, коммуникация в фейсбуке — это всегда опосредованная коммуникация. Она связана с оформлением сообщения и публикацией его ником-адресантом (*кто*), при этом адресат (*кому*) сообщения принципиально полиморфен, он представляет собой не только конкретное множество зафренженных ников, но также включенных и посторонних ников-наблюдателей, которые не проявляют коммуникативной активности, но присутствуют в Сети и фиксируют послание. Таким образом, универсум коммуникации по оси адресации принимает веерную структуру, на одной стороне которой субституция пользователя, на другой (точнее, на других) — неопределенное множество включенных и невключенных ников-коммуникантов. Следовательно, сообщение ориентировано не индивидуально,

а неопределенно. Тем самым данное конкретное сообщение изначально является ничем иным, как *запросом*. Чтобы стать актом коммуникации, данный запрос требует *отклика*. И если такой обнаруживается (задержка отклика здесь принадлежит сетевому синтаксису) — только тогда, то есть *ретроактивно*, ось адресации приобретает вид коммуникативной структуры. Так возникает основное событие общения, которое мы назовем *коммуникативной синтагмой*. В случае социальных сетей коммуникативная синтагма всегда 1) носит вероятностный характер, 2) замыкается ретроактивно и 3) с задержкой. Это означает, что предложенный нам синтаксис не гарантирует коммуникацию как таковую.

Рассмотрим стандартно возможные здесь варианты. Что случается с запросом в случае отсутствия отклика? Поскольку сообщение предъявлено, то есть зафиксировано, но не засвидетельствовано, а значит, не привело к коммуникативным последствиям, постольку оно приобретает характер *приватной записи в публичном дневнике* ника. Сообщение из запроса превращается в эпизодическую манифестацию и отражает текущее умонастроение, так как им оказывается затронут лишь адресант. Здесь участвует только одна аффективная модальность, кстати, косвенно указывающая или на отсутствие компетенции адресанта, или на его изоляцию от возможных коммуникантов.

Что случается с состоявшимся откликом, если на него в свою очередь нет ответа со стороны запросившего адресанта? Коммуникативная синтагма приобретает односторонний характер, то есть не формирует *воздаятельного мотива* для адресата и становится исчерпанной. Тем самым один из главных мотивов общения — установление взаимопонимания — исключается, и откликнувшийся адресат подвергается дидактическому унижению.

Социальная сеть, изобретенная для обмена мнениями, информацией, суждениями, парадоксально блокирует коммуникацию, то и дело впадая в свою противоположность, становясь суррогатом, потоком, канализацией — во всех смыслах этого слова. Изначально кажется, что в архитектуре любой социальной сети есть все возможности, чтобы оставаться полнокровным пространством переписки, пространством взаимообмена, исповедально-го или дискуссионного, эстетического или политического, транслирующего все виды личного и коллективного опыта, наполненного эмоциональными, моральными и ценностными маркерами письма. Но это почти прозрачное опосредствование (виртуальное, но отнюдь не призрачное), этот замечательный инструмент исполнения демонстрирует свою невиданную силу преломлять,

трансформировать, то есть определять, то, что он опосредует. И это все помимо обслуживающих — сугубо административных и модераторских — механизмов управления сетями. Основываясь на нашей социальной потребности, фейсбук воплощает собой системное насилие без всякого внешнего принуждения, в полном соответствии с конвенциональным садизмом «50 оттенков серого». Так почему же мы все еще «там»? Почему мы подписываем этот недобросовестный договор: *I agree*?

Может быть, потому, что в этом договоре для нас все же присутствует та самая «внутренняя сема» в виде безотчетно-побудительного мотива? Хотя бы в качестве терапевтического свойства фейсбука выступать тотальным сублиматором, а для многих, если хотите, и Великим Мастурбатором (а-ля Сальвадор Дали), то есть электронно-виртуальным полем разрядки, в которое пользователь попадает через психофизиологический контакт с гаджетом и раздаточное реле никнейма.

Между тем в этой сублимации есть своя устойчивая отличительная особенность, стиль отклонения или, скорее, рассогласования с тем, что требует удовлетворения, — с влечением как таковым. Характер этой особенности проявляет себя тем, что влечение напрямую не трансформируется в означающее и, что очевидно, не работает в непосредственной логике либидозной экономики, сформулированной еще Фрейдом. Сетевое влечение парадоксально не коррелирует напрямую с удовлетворением, поскольку последнее не происходит там, где находится его цель (объект), да к тому же с задержкой, или, в терминах Жака Деррида, влечение пребывает в режиме *differance*, отстранения-отсрочивания (то есть откладывания в пространстве и промедления во времени). Тем самым влечение и отклоняется, и задерживается, правильно было бы сказать — *отвлекается*, и это от-влечение влечения становится фундаментальным сетевым инструментом, который в обратном отношении определяет сам характер влечения.

Опять здесь приходит на помощь нарративная прямота Виктора Пелевина — сети «впитывают нашу сексуальную энергию». Сублимация, которая отвлекает влечение от его цели, обнаруживает искусственную — социальную — природу самого влечения и его последующего извращения. И это «технэ» (от древнегреч. *τέχνη* — умелость) осуществляется руками самого пользователя, оно — его творческая потенция в действии, его бессознательная мотивация в договоре. Но именно это мотивационное *самовосполнение* является основным полем приложения манипуляторного инструментария всех социальных сетей. Фейсбук призван

восполнять нехватку коммуникации на основе *подмены*. Именно в этом его прямое психоструктурное родство с *онанизмом*, выступающим как «опасное восполнение» (Жан-Жак Руссо), которое «обманывает» социальную потребность в общении.

Вот как выглядит такая руссоистская подмена в прекрасном обобщенном пересказе Наталии Автономовой в ее предисловии к «О грамматологии» Деррида:

Онанизм соединяет в себе яд и лекарство, недуг и лечение. Онанизм полезен как защита от болезней, как сублимация влечения к недоступной женщине, как возможность обладать в своем воображении всеми женщинами сразу, наконец, как средство выживания душевно хрупкого человека, наделенного безмерной способностью испытывать любовь (полнота переживаний всех восторгов любви была бы для героя, по его собственному признанию, губительна). Однако онанизм вреден как растрата природных сил, как повод для переживания вины, как психологическая фрустрация и т. д. Иначе говоря, трата и бережливость, гибель и спасение, отсроченное наслаждение и немедленное эрзац-удовольствие оказываются почти неотличимыми⁶.

Другими словами, фейсбук-сублиматор делает нечто такое с индивидуальным влечением, что оно обнаруживает себя в публичном поле, с одной стороны, в качестве устройства рассогласования с собственной приватной идентичностью, но с другой — в качестве структурного реле переключения (в месте разрыва) на «божественное место Другого» (Жак Лакан). Это специфическое *отыгрывание вовне*, не выходящее за границы своих собственных субституций, является обратной, но «приятной» стороной извращения. Правда, для этого необходимо «расшэрить» (от англ. *share* — делиться), открыть для коллективного (как же, как же, разумеется, избирательного!) доступа свой «ресурс», то есть привлечь свидетелей.

Не упуская из вида то обстоятельство, что мать создателя фейсбука является психиатром, а сам он учился на факультете психологии Гарварда, в социальной сети мы имеем реализацию специфического *written cure* Цукерберга, подменяющего *talking cure* Фрейда. Поэтому послание, функционирующее в режиме безотчетно-побудительного отыгрывания вовне, устанавливает особые отношения с комментариями, для которых организуются специальные места вписывания. Эти поверхности, заключающие в рамки дескрипции, отсылают не только к традиции некролога или

6. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 28.

эпитафии, но и к методу свободных ассоциаций: движение комментариев образует последовательности, мало соотносимые с запросом, но вполне инвентаризируемые в ассоциативном ключе. Ассоциация (от лат. *associo* — соединять) — это объединение без целого, но на основе разделяемого мотива (симптома). При этом последний, как правило, полиморфен.

Хотим мы или нет, но именно здесь сила социальной символической структуры в качестве Большого Другого порождает новый социальный порядок. Синтаксис фейсбука принуждает пользователей к завершению преднамеренно купированного коммуникативного универсума, к заполнению открытых валентностей на основе персональной метакоммуникативной ответственности зафренженных ников. Он апеллирует к *внесетевым* связям и отношениям и вменяет обязательства в соблюдении и выполнении социально установленных форм поведения, сопряженных с носителем корневого ника. Он вынуждает это приватное *к выходу на сцену*, заставляет его *брать слово*.

Социальные сети вписывают в нас дескриптивную способность к самопоказу — быть на виду, выводить на сцену свое личное; при этом делают это они нашими же руками, используя различные потребности и ответственности. Происходит это на уровне метапредписаний (сетевой политики), чисто синтаксически, еще в режиме регистрации и активации никнейма, и далее в рамках пользовательского (Кешиного) прохода «между контрольными зеркалами фазы *LUCID*»⁷: в актах *зафренживания* и *поли-графии*.

И это отнюдь не новая технология, это старое, но модернизированное извращение — структура эксгибиционизма, распространенная на все никнеймы и вмененная всем в качестве технологии репрезентации и самоудовлетворения: *я показал и удовлетворен тем, что Другой увидел, и наоборот*. Знаменитая формула Декарта *cogito ergo sum* в Сети приобретает вид: *предъявил, следовательно, существую*. Что равнозначно признанию в том, что до этого акта мы не существовали в качестве мыслящих субъектов, а сама процедура становления субъектами состоит не в мыслительном процессе, а в технологическом проявлении некоего невидимки (объекта маленькое *a*) на жидкокристаллической поверхности монитора. Это же, в свою очередь, означает, что социальный порядок, учреждаемый данным синтаксисом, является не более чем *изобретением*. Привлекая Жака Рансьера, можно было бы сказать, что он абсолютно *случаен*, то есть он является программно-технологиче-

7. Пелевин В. О. Указ. соч. С. 280.

ским продуктом психогаммы случайных цукербринов, продуктом силиконовой индустрии Воображаемого, не основанным ни на каком глубинном *архе*, то есть не имеющим ни обоснования в природе (с точки зрения Платона и Аристотеля), ни разумного обоснования в социуме (обоснования в представительстве по Гоббсу).

Любой ник в качестве виртуального устройства имеет свою копилку увиденного и предъявленного. Правда, все то, что мы узнаем о том или ином никнейме в качестве характерологического *surplus*'а из данной или смежных виртуально-экспозиционистских сетей, является лишь воображаемой сборкой Другого на основе его самоконструкции, как будто этот зафренженный Другой полностью исчерпывается своими публичными репрезентациями и «есть только то, что прокачивают сквозь [него] тебя цукербрины»⁸. Между тем сетевой ник остается технологическим, хотя и творческим, обнажением частичного объекта, результирующую сборку которых организуем отнюдь не мы, а всеобщее тело без органов, глобальное устройство коллективных асимметричных сообщений-высказываний, охватить которое как целое не способен даже такой тотальный вуайерист, как АНБ.

Никнейм, посылая коммуникативный запрос через запись-сообщение, парадоксальным образом сам на него и отвечает, то есть обнаруживает в собственной морфологии нехватку и одновременно творчески восполняет ее. Конечно, он требует «верификации» в качестве отклика, но таков уж программный код запроса: для него достаточным является уже то, что он «видим», предъявлен, «обнажил», то есть *разрядил* себя. В этом качестве он структурно соответствует воображаемому модусу «любви» с ее патическим запросом, постулирующим как нехватку объекта, так и организующим самовосполнение. И здесь мы подходим к еще одной фундаментальной формуле: фейсбук в качестве виртуального императива — это Любовь, он — Слово, Послание, наш нью-христос суперстрапон.

Библиография

- Деррида Ж. О граматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
Пелевин В. О. Любовь к трем цукербринам. М.: Эксмо, 2014.
Пропп В. Я. Морфология сказки // Он же. Морфология (волшебной) сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998.
Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Он же. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990.

8. Там же. С. 316.

ONE SHADE OF FACEBOOK

SERGEY ZIMOVETS. Philosopher, psychoanalyst. E-mail: s_zimovec@bk.ru.

Keywords: perversion; normopatya; sadism; exhibitionism; private; public; social networking syntax; imaginary; symbolic; communication; metarequirement.

This article implements preliminary approaches to the analysis of the distortions of the modern era and its corresponding transformations in the field of communication. The introduction and large-scale spread of virtual social networks have resulted in implicit communication syntax that now determine not only acts of communication, but also the partial representation of agents of communication. The analytical expression of syntax, the description of its underlying code, construction methods, and descriptive dominants allow us to relate modern forms of communication with the new active emerging social order dubbed “the era of perversion.” This “cultural psychodiagnostics” uses both psychoanalytical and philosophical approaches that allow us to create, on the one hand, a set of more adequate analytical tools, and, on the other, to open up the “silent” basic structures that have “settled” in modern technologies and that are responsible for the systemic violence of the latter.

References

- Derrida J. *O grammatologii* [De la grammatologie], Moscow, Ad Marginem, 2000.
- Freud S. *Tri ocherka po teorii seksual'nosti* [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie]. *Psikhologiya besoznatel'nogo* [Psychologie des Unbewußten], Moscow, Prosveshchenie, 1990.
- Pelevin V. O. *Liubov' k trem tsukerbrinam* [The Love for Three Zuckerbrins], Moscow, Eksmo, 2014.
- Propp V. Y. *Morfologiya skazki* [Morphology of the Tale]. *Morfologiya (volshebnoi) skazki. Istoricheskie korni volshebnoi skazki* [Morphology of the (Wonder) Tale. Historical Roots of the Wonder Tale], Moscow, Labirint, 1998.